



Карина Добротворская
Блокадные девочки



Карина Добротворская

Блокадные девочки

Текст книги предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9013585

Блокадные девочки: Новое издательство; Москва; 2013

ISBN 978-5-98379-175-6

Аннотация

Книга Карины Добротворской могла быть написана только девочкой, родившейся в Ленинграде. Ненамного раньше нее в этом же городе родилась и окрепла блокадная мифология, которая поддерживает свойственное его жителям ощущение мученичества и избранности. Как всегда, в этих ощущениях много выдуманного, навязанного, шаблонного. Но для женщины, преодолевшей свою собственную блокаду, отделявшую ее от большого мира, от красоты, успеха, карьеры, – тема ленинградского голода раскрывается совсем с другой стороны. Оказывается, что пережитый Ленинградом ужас никуда не делся из ее жизни.

Содержание

Предисловие	5
Интервью	20
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Карина Добротворская

Блокадные девочки

Моей дочери Соне

Предисловие

Мне пять лет. Я просыпаюсь ночью от странного чувства, что вокруг происходит что-то не то. Зову маму, она не отвечает. Приподнимаюсь и вижу, что родительская кровать пуста, а из-под неплотно закрытой двери пробивается полоска света. Я встаю и шлепаю на кухню, где с облегчением вижу маму – растрепанную, в застиранном фланелевом халате, из-под которого торчит голубая синтетическая комбинация с кружевами. Эта комбинация казалась мне в детстве прекрасной, как наряд принцессы, и я часто надевала ее перед зеркалом. У мамы в руках огромный нож, которым она быстро-быстро режет лук. «Мама?» Мама бросает на меня быстрый косой взгляд, и я постепенно понимаю, что это и не мама вовсе. То есть это, конечно, она, но и не она. Чужие холодные глаза без следа луковых слез, острый нож, удушливый луковый запах. Мне часто снились страшные сны, но этот был самым жутким. Почему-то он связался для меня с блокадой – так и не зажившей, воспаленной ленинградской раной. Тогда я не понимала почему, а сейчас понимаю. Блокада могла сотворить с человеком все, что угодно. Превратить самого близкого в другого. Самого себя превратить в другого. Такое бывает в фильмах ужасов, в каких-нибудь «Вторжениях похитителей тел».

Детский страх смерти материализовался для меня в ужа-

се и памяти войны. Война – в блокаде. Блокада стала моим главным кошмаром, заменила страшные сказки, превратилась в декорацию жутких снов. Ленинград был наполнен блокадным ужасом. Я повсюду натыкалась на его оскалы.

Мне десять лет. Бабушка говорит: «Не смей оставлять кашу в тарелке, эта каша могла бы спасти какого-нибудь блокадного ребенка». Я смотрю на остывшую манку с комочками и вижу блокадную девочку, которая жадно ест эту мерзкую кашу и вылизывает тарелку.

Мама срезает плесень с круглого черствого ржаного хлеба и рубит его на маленькие квадратные сухарики. Хлеб выбрасывать нельзя, мне сто двадцать пять раз рассказывали про 125 блокадных грамм. К счастью, я до дрожи люблю эти соленые сухарики, особенно из хлебной середины, без невкусных боковых корочек.

На Кондратьевском проспекте, где мы живем в типовой блочной девятиэтажке, стоит желтый сталинский дом. На двери в подвал написано: «Бомбоубежище № 16». Я всегда поеживаюсь, когда прохожу мимо. Бомбежки я боюсь больше, чем голода. Голод – абстракция, его я не могу почувствовать – никогда в жизни я не была голодной. Бомбежка – другое дело. Я так часто проживаю ее в снах, слышу этот свист, эти взрывы, бегу к двери с номером шестнадцать и понимаю, что мне не успеть, что бомба уже летит и сейчас упадет прямо на меня. Я просыпаюсь вся в слезах и зову маму. Почему-то стесняюсь рассказать ей про бомбежку и что-

то бормочу про сказочного дракона, уткнувшись носом в ее ту самую голубую сорочку с колючими кружевами.

У меня есть книжка «Норвежские сказки». На одной из картинок нарисован тролль. Мама потом так часто рассказывала, как я боялась этого тролля, что я уже не могу отделить ее рассказы от своих воспоминаний. Страшная картинка заложена закладкой, я все время открываю книгу на странице с троллем, смотрю на него уголком глаза, визжу и начинаю реветь. Я прекрасно помню эту тягу к ужасному, когда ты знаешь, что будет больно, но все равно открываешь книгу на заложённой странице. Но вообще-то моя самая любимая сказка – «Синяя Борода». Я так хорошо понимаю, почему юная жена открывает запретную дверь запретным ключом. Синяя Борода хорошо знал, что она это сделает, – надо только запретить. Блокада – мой норвежский тролль, моя заложённая страница, моя запретная комната.

Когда мы с папой по выходным ходим в Эрмитаж, я вижу на Невском доску: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Разницу между артобстрелом и бомбежкой я понимаю плохо. Почему одна сторона более опасна, чем другая, бомбы же падают с неба? И чем отличаются бомбы от снарядов? В отличие от двери в желтом доме доска меня не пугает, в ней есть что-то успокаивающе-музейное, она – часть нашего похода в Эрмитаж и в кафе «Лягушатник» на Невском, где надо отстоять огромную очередь, чтобы в зеленых извивающихся интерьерах съесть

земляничное мороженое с сиропом.

Я боюсь немецкой речи. Я видела слишком много фильмов про войну, я так хорошо слышу этот отрывистый лай, когда прячусь в кустах, а они идут мимо с автоматами наперевес, и я знаю, что нельзя пошевелиться и нельзя кричать. В этот момент я часто просыпаюсь и снова зову маму.

На даче в Лемболово, где я провожу каждое лето, лес опутан ржавой колючей проволокой, завален дырявыми касками и гильзами. Я собираю грибы в окопах и рву о проволоку резиновые сапоги. Если повезет, можно найти гранату и еще кучу всего интересного, но родители говорят, что граната может взорваться, а если порезать руку ржавой проволокой, то начнется заражение крови (я представляю, как мне в кровь заползают мелкие черные букашки и там расплываются в разные стороны).

На школьной линейке, посвященной блокаде, мы читаем стихи по мотивам дневника Тани Савичевой – одной из главных блокадных святых. Как это обычно делается, стихи разбиты на кусочки, чтобы досталось каждому. У кого-то кусочек про дядю, у кого-то про сестру, все в рифму. Не помню, кто из Таниной родни – у меня. Зато помню, что стеснялась читать эти стихи «с выражением», как того требовали учителя и обстоятельства. А вот пухлая Наташа Воронина, стоявшая рядом со мной, не стеснялась. И выбивала у всех слезу, и, кажется, сама ее пускала. Недавно я пыталась найти эти стихи в интернете, но не нашла. Наверное, они были плохие,

иначе мне не было бы так стыдно. Впрочем, может быть, я стеснялась не плохих стихов, а своей боли, превращенной в пафос.

Я прекрасно помню, как впервые прогуляла школу, которую вяло ненавидела. Дорога к ней шла через заросший пустырь с котлованами, который казался тогда огромным. Однажды утром я остановилась как вкопанная посередине этого пустыря, пораженная внезапной мыслью: «Ведь в школу можно не идти!» Это был удивительный эйфорический момент, озарение, торжество свободной воли. До этой минуты школа была неотменяемой данностью, побороть которую было невозможно. И вдруг стало очевидно, что это мое сознательное решение, мой выбор – и ничей больше. Я развернулась на 180 градусов и пошла назад, задыхаясь от восторга и волнения. Мне было семь лет, я училась в первом классе. Я провела несколько упоительных дней – смотрела утренние повторы мультика «Маугли», которые начинались в 9.30 (это до сих пор мой любимый советский мультфильм), ела что-то вкусненькое из неприкосновенных родительских запасов (у меня были отработанные технологии, как сделать так, чтобы никто не заметил исчезновения конфет, подсохших зефиром, засахаренного арахиса, банок со сгущенкой или клубничного варенья), читала «Трех мушкетеров».

Именно в эти сладкие дни, слегка отравленные предчувствием разоблачения (я, конечно, сознавала его неизбежность), я посмотрела фильм про блокадную девочку, кото-

рый назывался «Зимнее утро». Девочка показалась мне хорошенькой и чем-то похожей на меня. Я была худая, длинная, сутулая, с ножками-палочками, торчащими коленками и жидкими косичками. В школе меня дразнили «блокадницей». Фильм этот никогда нигде толком не упоминался, никто его не знает. Недавно я нашла «Зимнее утро» в сети, скачала и начала смотреть. Девочка оказалась ничуть на меня не похожей, к тому же с совсем не блокадными пухлыми щеками. Авангардная музыка с метрономным битом и сиренными подсвистываниями. Довольно вычурная для советского военного фильма графика. Режиссер явно понимал, что, говоря о блокаде, надо искать какой-то особый язык. (Николай Чуковский писал отцу, что только гротеск способен адекватно выразить то, что происходит в блокадном Ленинграде. Сам он, впрочем, написал кондовое «Балтийское небо».) Так вот, в семь лет я залпом посмотрела это «Зимнее утро» (оно меня, кстати, не сильно напугало – сработало успокаивающее воздействие жанра, а фильм был, конечно, стопроцентной мелодрамой). Пересмотреть его я не смогла, просто заскучала. Дала дочке Соне, попросив пересказать сюжет. Она послушно домучила фильм до конца, ничего особенного не почувствовала, в фабуле запуталась: «А она ему, а он ей... А она такая... Впрочем, я не очень поняла».

Вскоре после «Зимнего утра» меня разоблачили, пристыдили и наставили на путь истинный, который вел в школу. Я раскаялась, исправилась, училась неплохо, хотя и с заги-

бами (вроде поддельных пятерок в дневнике в подарок маме на 8 марта). Но года через три я снова услышала зов свободы, перемешанный с зовом сладкой жизни. Я решила найти киностудию «Ленфильм». Я приду на студию, мне непременно повезет, меня заметит режиссер, я сыграю главную роль, прославолюсь, в школе все будут завидовать мне, восхищаться и добиваться моей дружбы. Я осторожно, как будто из простого любопытства, расспрашивала всех, где находится киностудия. Кто-то из мальчишек хотел подшутить и сказал: «На проспекте Белогвардейцев». Почему-то это название показалось мне совершенно естественным, и я даже спросила у нескольких прохожих на улице, как до этого проспекта добраться. Кто-то пожал плечами: «Не знаю», кто-то отмахнулся, кто-то рассмеялся. А одна женщина сказала: «Нет такого проспекта, девочка. И не задавай больше этот вопрос никому».

Я не помню, где я все-таки раздобыла адрес «Ленфильма» – Кировский проспект, 10. Наверное, сказал папа, который часто бывал там по работе (он руководил лабораторией звукозаписи на заводе ЛОМО). Видимо, он же назвал и станцию метро – «Горьковская». Там, на «Горьковской», меня ждало первое обещание будущих сладких чудес – в киоске у метро продавалось черносмородиновое мороженое в шоколаде за 28 копеек. В нашем пролетарском районе подобной роскоши не встречалось. Я съела волшебный батончик на лютном морозе, дрожа от восторга и холода. Потом сра-

зу купила еще один. С тех пор вплоть до десятого класса я тратила на мороженое все деньги, которые выдавали мне на школьные обеды и завтраки.

Перед дверями киностудии толпилась куча людей, и я быстро поняла, что внутрь без специального пропуска не попасть. К толпе вышла немолодая белокурая женщина с приятным усталым лицом и стала что-то терпеливо объяснять. Я протиснулась к ней поближе и по-собачьи заглянула ей в глаза. Дальше все было почти так, как виделось мне в мечтах. Взгляд женщины (ее звали, кажется, Лидия Сергеевна, я потом не раз встречала ее на студии, а недавно узнала в крошечном эпизоде в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.») остановился на мне, в нем зажглась искорка интереса.

– А ты зачем здесь, девочка?

– Я хочу сниматься в кино.

– А родители знают, что ты здесь?

– Знают, конечно.

– Ну-ка пойдем со мной.

Она провела меня в так называемый актерский отдел. Там толкались десятки людей в пальто, пахло потом, что-то кричали, зачитывали какие-то списки. На всякий случай я призывно и лучезарно смотрела на всех солидно выглядящих мужчин без верхней одежды – мало ли кто тут режиссер и кто решит мою судьбу. Лидия Сергеевна подвела меня к кому-то:

– Смотри, какая девочка.

– Хорошая, хорошая... А куда ее?

– В «Блокаду»?

– В массовку?

– Может, и в групповку. А может, и в эпизод.

Меня одели в вонючий тулуп, обвязали платком и повели на фотопробы. Один из тех снимков сохранился у меня до сих пор: из-под платка торчит щетина тощей челки (мама сама делала мне дурацкую стрижку горшком). Лицо вообще не несчастное, а щеки совсем не блокадные – и откуда они только взялись при моей тогдашней худобе? Во взгляде – ни голода, ни озноба. Мне велели прийти через день и дали справку для школы, где было написано, что на такие-то числа я освобождаюсь от занятий в связи со съемками в картине «Блокада». Я принесла эту справку в класс и пережила свои пять минут славы – девчонки недоверчиво крутили магическую бумажку в руках. Я подслушала потом в школьном туалете, как одна из них сказала другой: «Ее взяли сниматься только за худобу, ты ведь видела ее ножки-палочки?»

Через два дня снимали бомбежку. Ту самую бомбежку, которой я так панически боялась все свое детство. Я была уверена, что смогу блестяще сыграть свой страх, и ждала, когда камера будет делать мой крупный план. Но нужно было куда-то бежать с толпой других людей, спотыкаться, подниматься и снова бежать... И так раз десять. Было холодно, тулуп вонял старьем, никто не заглядывал в мои преданные

глаза, никто не угадывал моего таланта и моего отчаяния. Я бежала и бежала от бомбежки, уже понимая, что едва ли потом разгляжу себя на большом экране. И что в этой «Блокаде» я не героиня.

Родителям я наплела что-то про крупный план и про то, что меня похвалил режиссер. Одноклассники про мою кинокарьеру быстро забыли, а я не напоминала, понимая, что хвастаться нечем. Когда «Блокада» вышла в прокат, мы пошли на нее с мамой в кинотеатр «Гигант». Сцена бомбежки там была, но ни в одной из серых бегущих фигур я себя узнать не смогла, а сам фильм оказался невыносимо скучным. Даже мой крупный план его бы не спас.

– Ну и где ты там была? – скептически спросила мама, когда мы вышли из «Гиганта».

– Наверное, меня вырезали, – буркнула я, сдерживая слезы.

Блокада вернулась ко мне в тот день, когда в Петербурге в конце мая 2010 года открывали бутик Cartier на Мойке. Мы с мужем и детьми приехали туда на «Сапсане» – это был первый в моей жизни «Сапсан». Скорый поезд мгновенно прикончил ночную пропасть между Питером и Москвой. Прикончил «Красные стрелы», верхние полки, дребезжащие подстаканники, храпящих соседей и стук проводника в дверь. Теперь Питер был на расстоянии вытянутой руки. И моя боль, и мое детство, и все мои смерти и отчаянные

межгородские романы – вот они, рядом.

Город, конечно, обходится со мной как с туристкой, а как еще? Нас поселили в «Европейскую», в мансардную двухэтажную комнату почти без окон. Я здесь клаустрофобически задыхаюсь, но дети в восторге от двух этажей. Когда я вхожу в зал для завтраков, меня приветствуют: «Good morning!» Мы идем к родителям моего первого мужа Сережи Добротворского – Елене Яковлевне и Николаю Петровичу. Разговор как-то незаметно соскальзывает в блокаду. Я почему-то совсем забыла, что Елена Яковлевна – блокадница. Когда Сережа был жив и мы с его родителями жили в трехстах метрах друг от друга, мы никогда о блокаде не говорили. Но сейчас я хочу, чтобы дети послушали – в воспитательных целях. Они и слушают – с интересом, но готовые мгновенно отвлечься, сбросить маски вежливости, начать толкаться и хихикать. Я знаю, как ловко дети умеют инстинктивно защищаться от боли и ужаса, и поэтому не сержусь.

Дома у Добротворских я вижу только что вышедший «Запретный дневник» Ольги Берггольц. На обложке она – красавица с ясным нежно-округлым и совсем не голодным лицом. Беру книгу в руки почти машинально. Елена Яковлевна говорит: «Я ожидала совсем другого. Кругом умирали люди, в том числе ее муж, а она думала только про свой роман с Макогоненко». Уношу Берггольц с собой, буду читать в поезде по дороге в Москву.

Через несколько недель я снова рвусь в Питер. Это странно, мне столько лет не хотелось сюда возвращаться. Слишком много боли. Здесь умерли мои родители. Умер Сережа. Умерли наши с ним так и не рожденные дети. Умерли все мои юные иллюзии. А теперь вдруг манит эта близость, обретенная благодаря «Сапсану». И вот уже кажется, что и разницы между двумя городами почти никакой, и боль можно размазать, как масло по бутерброду. К тому же Москва – в кольце лесных пожаров, так что есть весомая причина – бегу от дыма и тоски. Жара, впрочем, и в Питере невыносимая. В первый вечер мы с моим любимым другом Пашей Гершензоном идем в гости к искусствоведу Аркадию Ипполитову. Уже не помню как, но разговор снова вырывается на Берггольц и ее блокадные дневники. Я говорю, что меня поразило, как у нее хватало физических сил на любовь, секс, вообще на эмоции. Мать Аркадия, Галина Петровна, блокадница с сурово вылепленным лицом, бросает на меня строгий и почти презрительный взгляд: «А вот я эту книгу совсем другому прочла».

На следующий день вспоминаю разговор с Галиной Петровной и почти машинально говорю Ипполитову: «Надо бы вашу маму записать. И Елену Яковлевну Добротворскую тоже. И других блокадниц. Они ведь умрут, и все это с ними тоже умрет». (Я еще не знаю, как много записано и рассказано. Более того – я толком не знаю даже «Блокадную книгу», ее не было у нас в доме. Наивная дура – мне кажется, что

к теме никто почти не прикасался до меня. А она вся истерта, до дыр истерта... Другое дело, что никто эти блокадные свидетельства не читает. Но это и понятно – люди, как и мои дети, склонны защищаться от ужаса.)

– Ну так ты и запиши, – говорит Гершензон.

– А правда, Карина, запишите, – подхватывает Ипполитов.

– Думаете, это кому-то интересно?

– Какая разница! Это тебе интересно.

– Аркадий, а ваша мама согласится говорить?

– Думаю, да, я у нее сегодня спрошу.

– Я тогда к ней прямо завтра приду?

Когда на следующее утро я звонила Галине Петровне в дверь, я плохо представляла, что из всего этого может получиться. В голове смутно рисовались мои диалоги с блокадниками, объединенные в интеллигентного вида книжку с тонкой обложкой. Мне казалось, что у нас с ними выйдет мудрый философский диалог «о самом главном», что-то вроде того, что вышло у Гершензона с Вадимом Моисеевичем Гавским в их блестящих «Разговорах о русском балете». Потом я быстро поняла, что моим собеседницам не нужен диалог, не нужны мои дурацкие экзистенциальные размышления, вообще не нужен ничей чужой голос, особенно голос человека, не способного разделить и понять их опыт. Им вообще не нужен собеседник. Они уже много десятилетий продолжают внутри себя свой блокадный монолог. Они в этом

монологе живут. И лучшее, что я могу сделать, – им не мешать.

Все интервью я записала очень быстро – летом и осенью 2010 года. Я часто задавала одни и те же вопросы – были темы, которые меня особенно волновали и на которые я непременно хотела их вывести. Я решила не убирать эти повторы и вообще редактировать слова моих героинь как можно меньше, смягчая только очевидные стилистические погрешности. Я с самого начала знала, что буду говорить только с блокадницами, а не с блокадниками. Тема была слишком личной и слишком резонировала с моим детским страхом и моей детской болью. Соответственно и название возникло почти сразу – «Блокадные девочки».

Поначалу я не могла предугадать, что у книги появится вторая часть, состоящая из обрывочных записей, которые я делала в течение двух лет после того, как записала на диктофон первый блокадный монолог – Галины Петровны Афанасьевой. Я с некоторой натяжкой называю эти наброски «дневником», но это, конечно, не совсем дневник. Я записывала то, что так или иначе касалось моей блокады, в кольце которой я жила эти два года. Блокада не собиралась меня отпускать. Я читала разные книги и думала над задевшими меня кусками. Я несколько раз возвращалась в Ленинград и записывала, чем и как он меня оцарапал. Я ловила отдельные фразы и реплики, которые напоминали мне о блокаде. И я просто о ней все время думала – параллельно со своей

главной (или не главной, кто знает?) жизнью. Иногда я писала что-то почти каждый день. Иногда не писала месяцами. Эта книга (мне даже странно ее так называть) – ни в коем случае не исследование, это исключительно личное переживание. За эти два года я тоже изменилась. И с удивлением обнаружила, что акценты постепенно сползли с темы задавленной женственности на страшную и стыдную для меня тему еды. Довольно скоро я осознала, что если я хочу делать честную книжку, то эти записки нужно будет в нее включить. Поняв, что их будет читать кто-то еще, я стала расшифровывать имена и объяснять вещи, которые для меня самой никаких объяснений не требовали. Так в дневник прорвалась беллетристика. В этих обрывках немало возмутительного и даже кощунственного, но что делать, если история прорастает во мне таким корявым образом.

– А вам-то это зачем? – строго спрашивает меня Галина Петровна, наливая мне чай и сверля меня глазами.

– Честно? Не знаю.

Интервью

Галя

Галина Петровна Афанасьева

– Почему вам и всем блокадникам так важны эти точные адреса? Такая точная топография? Все пытаются вспомнить номера домов, названия улиц, описать дома...

– Потому что весь мир вокруг этого был замкнут.

– Сколько вас было в семье?

– У мамы шесть человек детей было. К началу войны она ждала шестого, потому что папа все время хотел сына, а рождались девки, девки и девки. Был только один брат Женя, который в блокаду все-таки выжил. Моя сестра Люся выжила и я. А Ксанка, которая родилась (опять-таки девчонка родилась, Ксанка ее назвали, Ксения) в сентябре, умерла почти сразу. Кира и Нина тоже умерли в блокаду, они были помладше, им нужна была пища получше, а у нас ничего подобного не было. Один раз пришла невеста дяди Антона, которая в госпитале работала, – просто проверить, умерли мы или нет, – и принесла нам полбуханки хлеба. И второй раз

дядя Костя, он был ополченцем и потом умер от голода, принес буханку. И больше ничего сверх нормы у нас за всю блокаду не было.

– А каково было маме рожать в блокаду? Или в сентябре еще было непонятно, к чему все идет?

– Мы летом жили в деревне, а 22 июня мама узнала, что война началась. И вот с таким животом поехала в Питер. Папа 23 июня ушел на фронт и сразу пропал без вести. Слова «блокада» тогда еще не было.

А потом – не помню, какого сентября – мама ушла рожать, и на мне остались сестра восьми лет, сестра пяти лет, братишка четырех лет и маленькая Нина – ей было два года. Денег нет, ничего нет, а я за всех отвечаю. Помогла соседка Ксения Львовна. Тогда еще отоваривали карточки и на дополнительные талоны давали настоящий кофе – такие коричневые банки с красным ободочком и красными буквами. Я тогда впервые узнала, что такое настоящий кофе – не желудевый и не ячменный. Ксения Львовна выкупала этот кофе у меня по коммерческой цене и еще добавляла денег – и я на эти деньги брала продукты.

– Мамы долго не было?

– Наверное недели две, тогда еще бережно относились к женщинам, которые рожают. Но уже блокада началась, снаряды летели, страшный вой этой сирены...

– Когда вам перестало быть страшно?

– А мне никогда не было страшно. Может быть те, кто был

более сыт, испытывали какой-то страх. Берггольц вот пишет, как она боялась. К тому же я была маленькая и не понимала, что такое смерть. На меня сразу навалилась работа – нужно было выкупать продукты и следить за всеми детьми. Когда мама легла в больницу, я своих младших потащила в кинотеатр «Баррикада» – там шел фильм «Приключения Корзинкиной» с Яниной Жеймо и Карандашом, так его три раза останавливали и нас отправляли в убежище. А потом мы пошли в Александровский сад и собирали там желуди и пытались их есть, но не смогли – они были слишком невкусные. Тогда еще давали, кажется, по 400 грамм хлеба, чувство голода было, но не такое сильное. Помню, я выкупила продукты в магазине (там сейчас «Стокманн»), он назывался «черным» из-за двух колонн черного мрамора при входе. И шла по площади – ведь мой дом совсем-совсем близко. И вдруг объявили тревогу и меня загнали в бомбоубежище, в Казанский собор, в круглый зал под куполом. Там посередине был круглый стол, и над столом висела лампочка. На скамейках не хватало места, и люди сидели прямо на этом столе. И вот мы сидим и ждем, когда все кончится. И вдруг страшный грохот, темнота, крики, стоны, плач, неразбериха. Это длилось всего несколько секунд. Зажглась лампочка, и стало понятно, что просто стол обрушился под тяжестью людей. А все решили, что это попала бомба. В каждом общежитии была аптечка, кому-то стали давать лекарство, запахло этими лекарствами. Мне стало безумно смешно, что люди

такой ерунды испугались и что их отпаивают лекарствами. Я захохотала во все горло. Я и не понимала, что смерть близко, думала только, что дети там без меня остались. Это был мой последний блокадный смех.

– Сколько прожила Ксанка?

– Она жила всего несколько дней, потому что у мамы молока не было. Ксанке выдавали соевое молоко, но ее организм его не очень-то принимал. В сентябре месяце мама вышла из больницы. Она забирала детей (оставляла дома только меня – старшую и Ксанку – младшую) и шла с ними на угол, где сейчас ресторан Баку, – там что-то такое давали без карточек. Ксанка страшно орала, и я бегала, пытаясь ее как-то утешить. Но знаете, у меня не было чувства жалости к этой девочке и боли за нее. Наоборот, была какая-то безумная ненависть к ней.

– Ненависть? Почему?

– Потому что я тоже была голодная. Снаряды свистят, все ушли есть, а я осталась с ней одна и вот она так кричит... Помните «Спать хочется» Чехова? Это я уже потом читала и вспоминала Ксанку и то, что я тогда чувствовала. Я ее сначала нянчила, гладила, потом начинала шлепать, потом щипала. Однажды пришел Алик, сын нашего дяди, который с начала войны жил с нами, так я на него набросилась и стала кулаками колотить за то, что это не мама вернулась, а всего лишь он. Вот такие качества неожиданно стали во мне проявляться. Видимо, эти чувства должны были как-то из-

ливаться. До сих пор остался у меня этот грех. Когда я вижу блокадников по телевизору или слушаю по радио, я все время удивляюсь, какие там все прямо героические были... А я... У меня героизм как-то по-другому проявлялся. Сейчас-то я понимаю, что это был настоящий героизм, потому что я оставалась с детьми и делала все, что было нужно.

– Вы помните, как Ксанка умерла?

– Она умерла тихо. Когда кто-то у нас умирал, Алик подделывал на резинке печать регистрации и на оставшиеся дни ставил на карточках печать, как будто они принадлежат живым. И эти продукты делились между нами. От Ксанки остались карточки и соевое молоко, и мама его между нами распределила. Впрочем, она его нам не очень-то и давала, в основном давала брату Жене. Надеялась, наверное, что отец выживет. А он безумно любил сына...

– То есть мама выделяла одного ребенка?

– Ну я не знаю, не знаю! Знаю, что ей давали 700 грамм молока. А дальше как было, не знаю. Мы в семье не говорили о блокаде, никогда не отмечали день снятия блокады. Я слышала, что в других семьях это делали, ели какую-то чечевичную кашу в этот день. Но простите, я не помню, чтобы мы в блокаду ели чечевичную кашу!

– Как мама перенесла смерть новорожденной дочки?

– Я не знаю. Я вообще не знаю, что для нее было тяжело, а что нет. А я эту смерть перенесла совершенно спокойно. Вот когда умерла сестренка Нина, мне было очень тяжело.

К ней у меня было много чувств, даже в блокаду. Я все время обнимала ее, целовала и читала ей книжки. Мертвая, она как-то вытянулась, повзрослела и не была больше похожа на такую маленькую, голубоглазую, в светлых локонах девочку.

– Когда это было?

– Осенью. Осень была очень красивая, очень теплая. Сначала мы жили в двух проходных комнатах – все-таки две семьи – дядя Саша, тетя Марта, их сын Алик, дочь Лили, знакомая Соня (я даже фамилии не помню), потом переселились в одну. Дядя Саша умер третьим – после Ксанки и Нины, и мы сделали покойницу во второй комнате, потому что там было два окна и вот такой слой льда.

– Почему не хоронили? Из-за карточек? Или не было сил?

– Они там лежали в ожидании. Пока мама найдет дворника, пока она договорится с ним, пока он придет и заберет их. Мама возить сама их на кладбище уже не могла. И нас боялась оставить, потому что, если с ней что-то случится, то что будет с нами? Они ведь уже мертвые, а тут – живые. У нее было, видимо, чувство, что все нужно делать для живых. При этом у нее хватало сил и мужества нас мыть раз в десять дней.

– Как это происходило?

– Ставила тазик, наливала туда чуть-чуть теплой воды (мы книги жгли), ставила другой тазик – еще чуть-чуть теплой воды.

– У вас вши были?

– Только у меня и у Сони, которая стала с нами жить. Они откуда-то изнутри пришли. Вши откуда-то снизу появлялись, а не с головы, такие мелкие. Соседка Ксения Львовна увидела их и сказала, что я скоро умру и что почему-то нужна шелковая одежда. Мама взяла папину шелковую трикотажную рубашку и стала на меня надевать. А в нашей квартире еще жила Хенна Абрамовна, у которой все погибли. У той были какие-то запасы. Ксения Львовна про них знала и сказала: «Надо у нее попросить маленькую стопочку вина и рису, это спасет Галю». У Хенны Абрамовны на уме были только деньги, деньги, деньги. Когда она после войны умерла, у нее в комнате нашли тюфяк, набитый деньгами. А как раз в это время пришло известие от папы, что он вывел из окружения часть людей на Карельском фронте и получил за это орден Красной Звезды. Триста рублей нам выплатил военкомат, мама купила на эти деньги рис и вино – и у меня вши пропали. Мама варила по чуть-чуть этот рис, никому больше не давала, только мне – с ложечкой вина. И вот я осталась жива. Как я сейчас понимаю, она меня как-то больше берегла, что ли. Наверное потому, что я первая... Я даже не знаю. Тогда я этого не замечала. Не знаю. Знаю, что хлеб, который я приносила, она резала на столько частей, сколько нас было, и каждую часть потом еще на две, чуть-чуть подсушивала кусочки на буржуйке и давала нам с подогретой некипяченой водой. И никто у нас не ныл и есть не просил. Мама была у нас очень строгая, два раза ничего не повторя-

ла.

– Значит вода у вас была?

– Вода появлялась. Появлялась в ведре. За водой меня мама никогда не посылала. И я не задумывалась, откуда она. Видимо, мама ее приносила, хотя мне говорила, что не может ходить, – хотела, чтобы я ходила за хлебом. А мы жили на пятом этаже.

– Вы слушали радио?

– Я не слышала ни Бетховена, ни Ольгу Берггольц. Я слышала только, как объявляют тревогу. И как наши отступают и в то же время захватывают какую-то технику. Я как-то спросила у мамы: «А как можно отступать и захватывать?» Она так посмотрела на меня и сказала: «Больше мне таких вопросов не задавай». Это я хорошо запомнила. И я с нетерпением ждала выступлений Андрейченко, который объявлял, что на такие-то талоны то-то и то-то выдают. Мы получали детские карточки, и отоварить их было очень трудно, но иногда что-то все-таки удавалось получить. И тогда мама варила суп – две ложки крупы и вода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.